

**КАЗИМЕЖ  
ТЕТМАЙЕР**

ПАННА МЭРИ

Казимеж Тетмайер

**Панна Мэри**

«Public Domain»

1909

## **Тетмайер К.**

Панна Мэри / К. Тетмайер — «Public Domain», 1909

«Мэри отправлялась на большой раут к Лудзким. Две горничные подавали ей платье и туалетные принадлежности, парикмахер в последний раз окинул глазами произведение своего искусства и с глубоким поклоном вышел из комнаты. За дверью он сплюнул и со вздохом взглянул на свой дворянский перстень. Но, нащупав рукой деньги в кармане, он невольно улыбнулся...»

# Содержание

I	5
II	6
III	8
IV	14
V	20
Конец ознакомительного фрагмента.	26

# Казимеж Тетмайер

## Панна Мэри

### I

Мэри отправлялась на большой раут к Лудзким. Две горничные подавали ей платье и туалетные принадлежности, парикмахер в последний раз окинул глазами произведение своего искусства и с глубоким поклоном вышел из комнаты. За дверью он сплюнул и со вздохом взглянул на свой дворянский перстень. Но, нащупав рукой деньги в кармане, он невольно улыбнулся.

Мэри одевалась быстро, со свободными движениями человека, не обращающего особенного внимания на цену материи и более занятого посторонними мыслями, чем заботами о платье. Она нервно двигалась по комнате, переходила из угла в угол и увлекала за собой обеих горничных, которые обменивались выразительными взглядами.

– Иоася, не надо затягивать, – произнесла она, наконец.

– Да иначе барышня не будут одеты как следует, – возразила одна из горничных.

– Пустяки! И так буду лучше всех.

– Ну, конечно, – ответила другая горничная, при чем обе за спиной Мэри высунули язык.

Мэри действительно была занята важными мыслями. Она знала, что встретит Стжижецкого, и хотела быть красивее всех, красивой как никогда, как мечта! Но ведь красота не может зависеть от того, будет ли она миллиметром тоньше или нет. Она была уверена, что Иоася и Зузя оденут ее хорошо и что парижское платье ей по фигуре. Дело было не во внешнем виде (прилично одеться сумеет каждая барышня со средствами, и обладай ты хоть сокровищами Галконды, больше чем можно – на себя не наденешь). Мэри заботилась о другом – о том внутреннем блеске, который должен был сиять в её глазах, дрожать на её губах, о том ореоле чудесного и волшебного, который должен был ее окружать.

– Я должна быть прелестна, прелестна, как мечта, – повторяла она.

Она возбуждалась все более и более. Глаза её горели ярче обыкновенного, грудь волновалась сильнее, полукрытые губы точно ожидали поцелуя...

Она с улыбкой взглянула в зеркало – нет, не Мэри.

Туалет был окончен. Иоася накинула ей на плечи великолепную накидку. Прежде чем выйти, Мэри еще раз посмотрелась в зеркало, и хотя не раз любовалась собой, не раз видала себя в бальных туалетах, все же была поражена своей красотой...

В эту минуту третья служанка доложила, что родители ее ждут. Мэри захватила веер и, напевая песенку, стала спускаться по большой мраморной лестнице.

«Лечу, как большая райская птица», – подумала она.

## II

– Ну, никогда уж, никогда!?!.. И никогда не услышу твоего голоса, как слышал прежде?.. И никогда не вернется прошлое?..

Звуки аккорда сплелись так дивно, что Стжижецкий дрогнул, точно сам поразился тем, что высказал; струны застонали как под ударом костлявой руки смерти. Стжижецкий бросил взгляд из-за рояля, но, кроме г-жи Скразской и m-lle Лименраух, не увидел никого.

– И никогда уж?!.. И никогда?!.. Никогда?!.. Я упал бы к ногам твоим, целовал бы руки и ноги, если бы ты мне подарила хоть одну прежнюю улыбку, хоть один прежний звук твоего голоса...

– Неужели это была только игра возбужденных нервов? И ведь я сам... сам оттолкнул тебя, сам растоптал этот цветок, сорвал это солнце с неба... разорвал эту лилейную пелену.

– Я сам...

Стжижецкому показалось, что вместо металлических струн в рояле натянуты его собственные нервы. Он терзал свои нервы... терзал собственное тело. Ему чудилось, что при каждом ударе кровь брызжет со струн, наполняет рояль, выступает из краев, заливает зал... все становится красным... пурпурным... все тонет в этой крови... все: мебель... цветы... люди... она...

M-me Скразская, с лицом как арбуз, и m-lle Лименраух, с лицом как морковь, вскочили с места. Рояль под пальцами Стжижецкого издал какой-то странный, дьявольский звук.

И Стжижецкий брал аккорд за аккордом. Рояль ревел смехом. M-me Скразская и m-lle Лименраух тонули в его крови, в той крови, что лилась из рояля в зал, и утонули бы, должны бы были утонуть, если бы эта кровь доплыла туда... туда... где эти цветы. Хе... хе... хе... Рояль ревел таким нечеловеческим, таким страшным хохотом, что Стжижецкий услышал где-то позади себя:

– Mais qu'est-ce que c'est?

Пусть течет кровь, течет! Исчез рояль, исчезла гостиная Лудзких, и m-me Скразская и m-lle Лименраух, исчезло освещение... цветы... все исчезло... осталось одно пространство, и шум, и гул, и море его текущей крови... Кровь касается её ног... подплывает к ним... хочет подняться выше... обдаться её... и не может... Странно, непонятно... В этом наводнении, в этом океане крови, что может, кажется, затопить Альпы, она одна стоит невредима... Кровь волнуется, бушует и кружится вокруг неё, вздымается волнами и пеной, но ни одна капелька не достигает её ног... Рояль под пальцами Стжижецкого зарыдал... Струны издали странный, раздирающий душу, невыразимо скорбный стон отчаяния. Глаза Стжижецкого стали влажны, он захотел подняться, зная, что все, что он ни сделает, будет смешно... и вдруг у него потемнело в глазах...

– Ах, ах! – вскрикнули m-me Скразская и m-lle Лименраух.

Стжижецкий пришел в себя.

– Mais qu'est-ce que c'est? – Что с ним такое? – услышал он сзади себя.

– Не угодно ли вам воды? – подошел к нему молодой Лудзкий с белым цветком в бутоньерке.

Стжижецкий отрицательно покачал головой.

Раздались звуки печальной песни... Вот дух скорбный, смертельно грустный, безнадежный, покинул тело, унося всю свою боль, всю свою горесть... Далеко-далеко от мира, от солнца – далеко от всего, чем живет она. В пустынную серую даль... Ах, далеко далеко, от всего, чем она жила, далеко!.. Но ведь, не будь её, страшен, смертельно страшен был бы сон... и мертвенно безжизнен был бы дух... И ты еще не понимаешь, как я люблю тебя?.. Не понимаешь, ты не хочешь понять?.. А я не могу, не могу сказать тебе этого... ничего не могу сказать?

Если бы я погибал, умирал, и одно только слово «люблю» могло спасти меня, я бы не произнес его, не мог бы произнести...

И песня оторвалась от мысли, осталось одно чувство. Стжижецкий стремился за ней душой, но не достигал ее, не мог. Синее журчание ручья... и что-то непонятное льется из-под его пальцев... Это была музыка человеческой души в её высшем напряжении, в экстазе любви и скорбной тоски.

В груди Стжижецкого что-то металось и рвалось, он точно вырывал свое сердце... и бросал его туда, в угол залы, к тем цветам...

Рояль закачался у Стжижецкого: снова потемнело в глазах.

– Что с вами? Не играйте больше, – подбежала к нему m-me Лудзкая.

«Что со мной?.. Страдаю – значит, живу», – подумал Стжижецкий и встал из-за рояля.

Его глаза устремились в угол залы, к цветам.

Мэри Гнезненская, вместе с другими, аплодировала очень живо. Щеки её горели, она казалась очень тронутой. Глаза Стжижецкого заблестели, дыхание задержалось в груди... Раскланявшись несколько раз аплодирующим, он подошел к цветам. Но волнение на лице Мэри, подавленное силой воли, исчезло, и только щеки еще пылали... Стжижецкий остановился...

Глаза его точно спрашивали: «Ничего?»

И он прочел холодный, спокойный ответ: «Ничего».

### III

«Мало владеть миллионами и быть красивой», – повторяла Мэри, ходя взад и вперед по будуару m-me Лудзкой и любуясь повременам своей наружностью и своим нарядом в зеркале. – «Этого мало. Такая девушка, как я, имеет, право, все... Да, да, Мэри, ты должна сделать карьеру. Графиня Мэри!» – Она наклонилась перед зеркалом... Княгиня Мэри!..

Она еще ниже поклонилась и покраснела.

Кровь залила её щеки... Она смутилась, точно сказала какую-то неловкость, не то такое, чего никто не должен слушать.

«Княгиня Мэри», – шепнула она, глядя в зеркало, и еще раз низко поклонилась.

– Княгиня Мэри!..

Она покровительственно кивнула головой.

– Madame la princesse Mery...

– Madame la duchesse... Ведь выйти замуж можно не только в Польше...

«Но, нет, нет, непременно в Польше за поляка», – подумала она...

– О, Мэри Гнезненская не увезла бы своих миллионов за границу... Мэри Гнезненская отдаст свою руку только поляку!.. Да, только бы удалось! Княгиня Траутмансдорф, княгиня du Медина-Силония Колонне...

Можно позволить себе всякия желания, всякие требования и мечты, если ты так красива, так дивно красива, так умна... И быть при этом единственной дочерью Гнезненских...

Смешна эта m-lle Лименраух со своими 400 тыс. приданого... Ведь у меня 11 миллионов. С такими деньгами и в Европе многое сделаешь, а у нас – все. Впрочем – папа все больше и больше увеличивает капитал, а мне всего 19 лет. Раньше 22 лет я замуж не выйду; за это время папа дойдет до 12 миллионов, может быть, до 14, а может быть, и до 20!

Ведь папа гениален в делах, а я его родная дочь!..

И она снова поклонилась себе в зеркало...

– И я буду гениальной в моих делах.

Она опять поклонилась.

– Мэри, ты должна сделать карьеру... Помни же это! – сказала она громко и погрозила себе пальцем.

Но лицо её омрачилось.

Почему же папа не старается получить титул барона?

Ведь это не так трудно. Он говорит, что титул сделал бы его смешным в Варшлве, где каждый помнит его дедушку Гавриила Гнезненского, шерстяного и хлебного маклера. Да он, кажется, назывался даже Гнезновер, ей это сказала однажды Герсылка Вассеркранц в припадке злобы.

...Ах! Эти Вассеркранцы, Лименраухи, Моргенштейны. Хорошо еще, что в нашей семье нет ни Пистолетов, ни Медниц. Эсвирь Медница... Я сама видела такую вывеску за Железной Брамой<sup>1</sup>.

Мэри прочла это раз в своем альбоме, но это писал кто-то таким измененным почерком, что она не могла догадаться.

... Я как роза саронская и лилия долин.

Кипит, бушует во мне жизнь... Красота моя ослепляет.

Таковы, верно, были женщины наши, когда евреи покоряли Азию...

Брр... Евреи!..

... Я как роза саронская...

---

<sup>1</sup> Предместье Варшавы, населенное евреями.

Вся я прекрасна... И нет изъянов во мне.

Она рассмеялась. Глаза её остановились на губах. Перестала смеяться.

Эти губы – причина её вечных тревог!

Не потому, чтобы они были некрасивы – рисунок их безукоризнен, они алые, прелестные... Но губы беспокоили её – они выражали что-то... чего сама Мэри не могла ни назвать, ни определить.

– Если я погибну, – сказала она своей двоюродной сестре Герсылке Вассеркранц, – то меня погубят мои губы – увидишь...

Она чувствовала, что владеет собой; своими взглядами, своим голосом, движениями, даже мыслью, сердцем – этому её выучили, и она сама воспитала это в себе,

Но в губах её было что-то, что было выше её сил, её воли. И она знала, что их ей не покорить.

– Что это такое? – думала Мэри иногда.

Между тем, все впечатления отражались сначала на её губах.

Прислушиваясь к музыке, которую она предпочитала всем другим искусствам и которая действительно трогала её, Мэри чувствовала, что все звуки касаются её губ. раньше, чем слуха.

При декламации или пении слова и звуки голоса точно ласкали и нежили её губы... Если же кто-нибудь ей нравился, губы её ощущали странное чувство.

Губы мои созданы для поцелуев, но страшны для того, кто целует их, и страшны для меня. Губы мои, как я вас боюсь!.. Созданы для поцелуев...

Какое то бессилие овладело ею, какая то истома... – Созданы для поцелуев... – повторяла она полупшепотом: – мне кажется, что я не страстна, а... похотлива (так это называет Герсылка). Впрочем, Герсылка слишком много знает и страшно испорчена... она безусловно развращает меня.

– Роза саронская...

Пройдясь немного по комнате, она снова остановилась перед зеркалом.

– Да, да! – шепнула она. – Я должна покорить мир. Пусть мой жизненный путь будет сплошным триумфом. Раз я не могу быть еврейской Венерой в храме Соломона, то я, по крайней мере, должна добыть ценой моей пляски голову Иоанна Крестителя, подобно Саломее...

«Sie tanzt mih rasend. Ich werde toll!  
Sprich Weib was ich dir geben soll?  
Sie lächelt! Hedela! Trabanten, Läufer!  
Man schlage ab das Haupt dem Täufer!»

– Да, да, весь мир в руках смельчаков. И его можно закружить до безумия! И безумен будет он от моей пляски!

«Hedela! Trabanten, Läufer!  
Man schlage ab das Haupt dem Täufer!..»

Она топнула ногой...

– Все – мое! Все – для меня! Я так хочу!

С расширенными ноздрями и полуоткрытыми губами, за которыми блистали зубы, Мэри стояла, смотря в зеркало и наслаждаясь своим великим, страшным могуществом. Царская красота, редкий ум, чарующая прелесть и талантливость...

– Во мне есть что-то демоническое, – шепнула она.

– Власть!.. В 19 лет быть так могучей!

Чего она не покорит, чего она не бросит к своим ногам! И ей показалось, что море голов клонится к её ногам и шепчет полуголосом какую-то песнь, или гимн:

«Ты – как роза саронская и как лилия долин...  
Ты меж девами подруга моя, как лилия меж терновником.  
Ты закрытый сад, закрытый источник...  
О, источник живых вод, плывущих из Ливана!..»

И она радовалась этому гимну, этим преклоненным головам и своей великолепной исключительной памяти.

– Что же мне делать, если я среди дев, как лилия среди терновника... Быть может, я и трех раз этого не читала, а почти весь гимн знаю наизусть.

«Чрево твое, как стог пшеницы, окруженной лилиями», – здесь Мэри рассмеялась.

А море голов, преклоненных пред нею, шумело: «Кто та, что встает как заря, прекрасна как месяц, чиста как солнце!»

И хотя у царя 60 жен и 80 налож...

Мэри бросило в жар, она оборвала... и опять посмотрела на губы свои... полуоткрытые, пурпурные, немного влажные... «Наложи меня, как печать, на сердце твое и, как печать, на грудь твою... Ибо сильна, как смерть, любовь, крепка, как могильный камень. Углы её, как углы огненные и как пылающий огонь. Великим водам не погасить такой любви, не затопить ее рекам; а если кто отдаст за нее весь достаток дома своего, будет отвергнут».

О, как прекрасна, как пленительна – любовь сладчайшая!

– Удивительная у меня память! – шепнула она.

А море голов, преклоненных пред ней, шумело: «Кто та, что встает как заря, прекрасна как месяц, чиста как солнце!»

Брр... Если бы моя фамилия была «Медница»!.. М-Ит Мария Медница... Мэри Медница... А ведь я могла бы так называться! Почему-то мне кажется, что и моя бабушка, фамилии которой я никогда узнать не могу, тоже была Медница. И все Медницы из-за Железной Браны, оборванные, грязные торговки, плутовки и обманщицы: все они мои родные...

Брр... – Кровь снова залила ей лицо...

– Видно, какой-то добрый гений покровительствовал мне... Ведь это было бы страшно... Мисс Мэри Медница...

Брр...

Однако горевать нечего. Это ничуть не поможет.

– Фамилия моя Гнезненская, даже довольно аристократическая фамилия. Уж дедушка переименовал ее. Да при том у меня 11 миллионов! Дивная красота, редкий ум и богатство... все, что может заменить фамилию.

Я в Варшаве – первая.

Разве я не хороша собой?

Мэри остановилась перед зеркалом.

При каждом взгляде в зеркало ей прежде всего бросался в глаза избыток жизненной силы, им она так и дышала.

От искры ума и жизненной силы, грудь и бедра точно разрывают корсет.

А все это сливается в чудную классическую гармонию.

– Ты могла бы служить моделью Венеры, если бы у евреев была Венера, – сказал ей дядя Ганугут, гордившийся всегда своим происхождением и обладавший прекрасной скульптурной коллекцией.

«Ты, как роза саронская и как лилия долин...

Уста твои подобны кораллам, речь пленительна...

Обе груди твои, как серны-близнецы, пасущиеся между лилиями»...

Вся ты прекрасна, подруга моя! и нет в тебе изъянов...

Она почувствовала страстное желание броситься на кого-нибудь, впиться губами в его шею и сосать, сосать, кровь...

К ногам моим! К ногам!..

К ногам!..

Ах, стать на чью-нибудь голову ногою.

Растерзать, рвать, чувствовать свою мощь...

Она горстями бросала бы золото, золотом била бы по лицу. Пусть это золото жжет, как огонь, сечет, как бич. А вы – протягивайте к нему руки, теснитесь, толкайтесь, бейте друг друга... Чувствовать их под своими ногами!..

Пусть их мечутся, вопят, умоляют...

Демон!..

Но, посмотрев на свои губы, Мэри смутилась... Ей показалось, что губы эти слушают, но не понимают её; будто у них свои глаза, и они другими глазами смотрят на мир. Перед ними она чувствовала себя бессильной.

Вот слабею я! – вспомнила она из «Без Догмата».

Какая-то сила таилась в её алых губах.

– Губы мои и мое честолюбие будут моею гибелью, – думала она, – мне не устоять, я слишком честолюбива. Страшно...

И она почувствовала себя бессильной и ничтожной.

– Ничто, ничто не спасет меня!.. Страшно... – шепнула она.

Мэри точно оглянулась на кого-то. И вдруг у неё перед глазами встало лицо адвоката Якова Лесимберга, человека очень порядочного; любовь его к Мэри была всем известна, хотя он только издали осмеливался глядеть на нее.

Но Мэри не обращала никакого внимания на этого жида. Ее возмущало даже и то, что он смеет глядеть на нее.

Ведь, по выражению дяди Гаммершляга, – она и для княжеского стола была бы лакомым кусочком.

– В сущности, я очень одинока, – подумала Мэри.

– Мама, что для меня мама? Мама вздыхает и скучает в Варшаве по Карлсбаде, в Карлсбаде по Биарице, а в Биарице по Варшаве.

Это, право, единственное её занятие.

Она настолько интересуется мною, что в случае моей смерти поплакала бы недели две. Впрочем, она не интересуется ничем и никем, ни мною, ни отцом, ни тем и ни сем.

Папа – обыкновенный *Geschäftsmann*; ведь следует все называть настоящим именем, как говорит ксендз Варецкий.

Отец меня очень любит, восхищается мной, но помимо внешнего лоска – он остался сыном дедушки Гнезновева... И кто-же еще у меня? Нет ни братьев, ни сестер. Герсылка пока даже Вассеркранц? или может быть, Михаил Кухен. Все они слишком мало развиты для меня... Я одинока, я совсем одинока. Ведь у меня нет никого, и никто меня не любит. Если я нуждаюсь в чужой помощи, то могу ее найти, и найду только за деньги.

Она горько усмехнулась...

За деньги, все за деньги...

Полюбил бы меня хоть кто-нибудь?.. И сколько молодых людей делали мне предложение, сколько ухаживали за мною! Смельчаки!.. Пятеро из них любили других... странно, кажется, никто еще не полюбил меня, несмотря на мою красоту, несмотря на то, что я между девами, как лилия среди «терновников»...

Боятся, не смеют...

Но какой-то внутренний голос шепнул ей, что это неправда. Мэри горько усмехнулась... Странно... Ведь в других влюбляются, в Герсильку, в Фронию Вассеркранц, в Маргариту Лименраух, в Саломенну, сестру Скразских, хотя они и некрасивы и не богаты. Иосю Вагнер, Иосю Кутускую, Ядвигу Подрембскую... В каждую кто-нибудь влюблен, – в Подрембскую даже несколько молодых людей, два или три. А ее – никто не любит. Правда, что все эти барышни сами также влюбляются, все стараются полюбить кого-нибудь, если не все, то, по крайней мере, большая часть... Она же, она одна никогда... Никого не любит и не старается полюбить. Она жаждет лишь страстных наслаждений: упоений, опьянений...

Она почувствовала, что губы её вытягиваются... Какая-то страшная, неведомая сила предстала перед ней и обдала ее холодом.

– Страшно! – шепнула Мэри.

Но это чувство прошло. Мэри захотела еще раз вернуть свои мысли, но они уже спутались. И чудилось ей, что она видит лицо Владислава Стжижецкого.

– Он, кажется, влюблен в меня... – подумала она.

Эх, какая любовь... любовь артиста...

И что он такое? Будь он немцем, французом, англичанином – но польский композитор!.. Никогда ему не добиться всемирной известности.

Впрочем, какое мне дело до него? Замужь за него я не выйду. Madame Стжижецкая, что это значит?

Если бы он был всемирной знаменитостью... Польская знаменитость удовлетворила бы меня, если бы у меня был один или два миллиона, а ведь у меня их 11, а может быть, будет больше со временем... Нет, нет... Да и к чему все это? Ведь он не сказал мне ни одного слова. Каковы были наши отношения? Мы разговаривали на раутах с тех пор, как меня ввели в свет; затем мы поссорились и перестали разговаривать. Ничего не было между нами и ничего нет.

Из-за чего мы поссорились? Собственно говоря – без причины. Но я иногда жалею... Ни с кем я так не разговаривала. Он видел мою душу – смотрел в нее... слишком глубоко смотрел... Ба! Мне все можно. Я могу заплатить...

Он узнал мое странное честолюбие и мой эгоизм, который всю меня поглощает и переполняет...

Но к чему говорить об этом?

Боже мой, как он глуп! Чего ему захотелось. Разве он не понимает, что и не могу запретить никому судить обо мне, это не в моей власти, но я могу не позволить делать себе замечания... А, впрочем, кто знает?..

Он мне нравится... Хотя, собственно говоря, я сама не знаю, что мне в нем нравилось: он или его талант, а быть может, и правда, что я ему нравилась... так все говорили... А теперь перестали говорить – как жаль... Как он сегодня странно играл, я ничего подобного никогда не слышала...

О чем он думал?

Если он воображал, что я занята им, – он дурак.

Madame Ja comtesse Mery Zamoyska, madame la comtesse Mery Potocka – поклонилась она себе в зеркале и шепнула опять: la princesse Mery Lubomircka, la princesse Mery Kaelzeroitt... Княгиня Мэри...

Ей стало жарко – смутилась.

Нет, мало владеть миллионами и быть красавицей...

Графиня Мэри, княгиня Мэри, – все смелее шептала она, выходя из будуара и как бы привыкая к звуку этих слов. Madame la comtesse Mery... Княгиня Мэри...

Мэри это сделает Мэри, позаимется этим, – говорила, картавя, божественная светлейшая княгиня Мэри...

...Все мое, я все могу покорить, все!.. Avanti Mery!

Мэри, ты должна быть первой дамой в Польше, одной из первых в Европе.

У тебя для этого все в руках! Я знаю, что ты можешь этого достигнуть. Незачем будет тебе писать на визитных карточках *comtesse* или же *princesse Mery telle et telle, nec Sweznichsky*. Слава Богу, мне дали зато приличное христианское имя, и фамилия моя не Пистолет, не Медница.

Да будет слава Богу Всевышнему! *E avanti Mery!*

Тебе предстоит еще покорить мир!.. *Avanti Mery!*

## IV

Мэри вошла в гостиную. Вошла со своим обыкновенным выражением, с прищуренными глазами и немного выдвинутыми губами, с небрежными изящными движениями, с миной человека, которому все дозволено и который знает, что если найдется человек, который ей скажет – неправда, то все-таки и он и она будут уверены в душе, что это правда. Мэри поглядела кругом равнодушно, но с тайным любопытством: какое впечатление произвело её долгое отсутствие в зале и не найдется ли свободного уголка. её глаза остановились на графине Вычевской, которая вместе с знаменитым пианистом-любителем графом Морским разговаривала со Стжижецким, затем на группе нескольких барышень и молодых людей, – наконец перешла на старого ученого профессора Тукальского, который, сидя одиноко в кресле, протирал свои очки. Мэри проскользнула около барышень и, не обращая внимания на графиню Вычевскую и на её кружок, с очаровательной улыбкой села возле профессора Тукальского.

– И вы не боитесь соскучиться со стариком? Хе-хе! – засмеялся профессор, надевая очки.

– О, если только вы не боитесь соскучиться со мной, профессор... – ответила она, приветливо улыбаясь.

Мэри разговаривала живо и остроумно, но мысли её были где-то в другом месте. Она обдумывала, какое впечатление произведет её разговор с Тукальским.

Разговор сразу отличал ее не только от всех барышень, но даже от дам. Ведь всякий скажет: она подошла к нему, видя его одиноким – значит, у неё доброе сердце; она, очевидно, развитее других, если не смущается и находит тему для разговора с таким ученым человеком; безусловно она добрее и умнее других. В то же время она обращает на себя всеобщее внимание и злит всех тех молодых людей, которые хотели бы подойти к ней, а этого, без сомнения, хотят все, за исключением двух женихов, хотя и относительно одного из них она сомневается, так как он женится на Лиле Покерт только ради фабрики её отца.

В «Бухгалтерской книге своей жизни» на 11 марта 189... г. Мэри отметила большую прибыль. Она вполне была довольна собой.

По временам глаза её искали глаз Стжижецкого и встречались с ними. Она интересовалась его мыслями и, казалось, угадывала их. Он очень хотел подойти к ней, а вместе с тем его глаза выражали что-то злое... То, что он хотел подойти к ней, ее мало интересовало: уж слишком привыкла она к этому, – впрочем, иначе и быть не могло; за то эти злые огоньки в больших темно-синих глазах интриговали ее. Ей хотелось помериться с ним силою, и хотя она была уверена в победе, но эта борьба казалась ей интересной и возбуждающей. Мозг Мэри стал ей вдруг казаться шпагой в её руках. Наступая и отражая мысленно удары, она продолжала разговаривать с профессором Тукальским. Она видела, что Стжижецкий не сводил с неё глаз, насколько это было возможно в присутствии других. Вдруг злые огоньки в его глазах потухли, в них мелькнуло страданье. Мэри отвернулась с гримасой легкого презрения и скуки.

А хозяин дома, Лудзкий, здоровался в дверях залы с высоким графом Виктором Черштынским, который корчил из себя англичанина. В голове Мэри стрелой промелькнула мысль. Здесь два человека, на которых обращено всеобщее внимание, – Стжижевский и Черштынский. У Черштынского титул и вид англичанина, все знают, что он ищет богатой жены и хочет продать себя; ему безразлично, откуда будут деньги, где бы их добыть. При том он хорош собою, элегантен, beau garçon, спортсмен, а также двоюродный брат княгини Заславской. Княгини Заславской!..

Стжижецкий безусловно гораздо интереснее, и окружен тем блеском, который только дает аристократизм.

Они первые здесь между молодыми людьми, как она между барышнями...

Теперь можно будет помериться силами!

Она почувствовала странное желание психической борьбы.

Как поступит Черштынский, это для неё безразлично, но как – Стжижецкий?.. В его душу, в это тихое озеро бросить каменную глыбу, которую представляет из себя Черштынский. Что же произойдет? Озеро забушует, забурлит!..

Да, да... Теперь Стжижецкий покоен, ведь его никто не раздражает... Но это страшно скучно! Пока станешь женой такого Черштынского, нужно кое-что пережить с такими, как Стжижецкий. Надо жить... Жить!..

Громадный избыток жизненных сил стал клубиться в её жилах, какая-то дрожь пробежала по губам... Грудь её разрывала корсет и лиф, и кровь в ней замирала, как у барса при виде добычи, которой *ему* не поймать. Ноздри расширились... Какая-то дикая, злобная жажда легкой дрожью пробежала по телу...

Мне хочется влиться ногтями во что-то!.. – думала она.

Профессор Тукальский восхищался её остроумием, а общество любезностью; без сомнения, оборотный капитал Мэри на 11-е марта принес очень хорошую прибыль.

Между тем, Черштынский, со свободными движениями светского человека, захотел подойти к Мэри, но она предупредила его, встала и, перекинувшись с профессором Тукальским еще несколькими приветливыми словами, подошла к Стжижецкому.

Глаза их встретились и точно впились друг в друга, но вскоре оторвались и смотрели друг на друга холодно и неподвижно.

– Вы были сегодня очень расстроены у рояля, – заговорила Мэри.

– Это вам только показалось.

– Как же? Вы чуть в обморок не упали.

– Это казалось только *м-ме* Лудзкой.

– Мне кажется, что это вам только кажется.

– Вы любите играть словами?

– О, я люблю играть всем.

– Что может принести поль... Стжижецкий запнулся и не кончил. Лицо Мэри облилось румянцем, но, дерзко взглянув на Стжижецкого, она сказала.

– Почему же вы не кончили? Что вы хотели сказать?

– Пользу! – сказал Стжижецкий грубо.

– Что может принести пользу? – повторила Мэри, уже совершенно владея собой. – Да, да, и я думаю, что тот, кто играет иначе, – неумен.

– Разве вы не понимаете, что можно играть, хотя играть не хочется?

– Так делают слабые люди.

– И если они проиграют?

– Жалеть их не стоит.

– Вы притворяетесь, если серьезно так думаете.

– А вам как кажется?

Стжижецкий быстро взглянул на нее; Мэри вызвала его взглядом.

– Я ничего не хочу думать, – ответил он, немного помолчав.

– Разве вы боитесь?

– Боюсь.

– Чего?

– Чего-то нехорошего.

– Вы не хотите думать обо мне нехорошо?

– Да.

– Только слабые люди играют тем, что не приносит пользы.

Лицо Стжижецкого нахмурилось, это доставило ей удовольствие.

– И не стоит их жалеть, – опять сказал он.

– Вы думаете, что я говорю серьезно?

– Вероятно... да.

Мэри сделала гримасу ребенка, который притворяется тщеславным.

– Я выше всякого мнения.

– Вы играете?

– Я всегда играю.

– Всем?

– Да, всем тем это мне в руку не дается? Его вина!

– Но ведь это неблагоприятно.

– Но стильно, – ведь мы поссорились из-за этого «недостатка благородства».

– Послушайте, Мэри.

Стжижецкий произнес это очень мягко. У Мэри слегка закрылись глаза, но только на одно мгновение.

– Вам жаль?

Минуту Стжижецкий точно колебался и боролся с собой; потом проговорил тихо и еще мягче прежнего.

– Жаль.

Этот момент показался Мэри подходящим, и она с притворной развязностью, лишь бы что-нибудь сказать, ответила Стжижецкому:

– Не стоит ничего жалеть. – И тотчас устремила свои глаза на Чарштынского, который разговаривал с профессором Тукальским.

Она долго смотрела на него, так долго, что Чарштынский поднял глаза и стал пристально смотреть на нее.

– О чем же мы говорили? – обратилась она к Стжижецкому.

– Ни о чем, – ответил он, а лицо его побледнело, и брови дрожали.

– Как ни о чем? Со мной так нельзя, – пошутила Мэри.

– Мне, видно, можно.

– Вам, такому вельможе, все, все можно! Мэри забавно склонила голову.

– Даже обанкротиться, – отрезал он. Мэри рассердилась.

– Ведь я не говорила о настоящих вельможах.

– Вы напрасно это подчеркиваете.

Ответ Стжижецкого казался Мэри пощечиной; он поплатится за это! Во-первых, её слова ей самой показались грубыми, во-вторых ответ Стжижецкого уж слишком был дерзок. За это все он поплатится! Покинуть его и подойти сейчас к Чарштынскому слишком банально, слишком просто, недостойно её. Мэри почувствовала в себе змею. Посмотрев на Стжижецкого нежно, по-детски, она без всякого кокетства, с необыкновенной грацией шепнула:

– Простите...

Стжижецкий еще более побледнел, затем покраснел, и в глазах его блеснули слезы.

«Вот тебе и отместка! – подумала Мэри. – И теперь не надо портить настроения и не позволять ему ничего лишнего». Она отвернулась и ушла в глубь залы, взяв под руку одну из барышень, стоявших вблизи. Это была её кузина Клара Тальберг, славившаяся своей наивностью и перевираанием всего, что слышала от других.

За это ее и прозвали «ситцем».

– Знаешь, это просто несчастье быть богатой, – говорила ей Мэри. – Никому верить нельзя, все мне кажется, что у меня ищут только денег. Я иногда чувствую, как я несчастна... Миллионы моего папы тяготят меня. Я бы не хотела быть совершенно бедной, но предпочла бы иметь столько, сколько ты. Лишь бы не терпеть нужды. Ты, по крайней мере, можешь любить и быть любимой, можешь верить любви и быть счастливой. А я со своими миллионами всегда одинока, окружена завистью, корыстолюбием. Всегда со своей необходимой, такой мучитель-

ной тоской равнодушие на лице. Ведь я за все свои миллионы не могу купить слова «люблю», которому бы я смело могла поверить.

– Бедненькая, – сказала растроганная Клара.

– Какая ты добрая, – ответила Мэри, прижимая ее к себе. – «И глупая», – мысленно прибавила она.

Однако же в том, что она говорила Кларе, было много правды.

С самого раннего детства Мэри внушала недоверие к людям. «Будь возможно больше „réservée“», – слышала она всегда от всех своих гувернанток, от всех англичанок, француженок, итальянок, немок и испанок, от всех своих бабушек, тетушек и дядей, от матери и отца. Быть «réservée» должно служить идеалом для неё, признаком изящества, необходимого для такой богатой барышни. «Früher als dich, sieht man dein Geld», – постоянно повторял дядя Гаммершляг, у которого была отвратительная привычка говорить на немецком языке, а иногда даже на еврейском жаргоне.

«Не верь, – здесь дело в твоих деньгах», – говорила ей тетя росенблюм. «Выверни его десять раз наизнанку, пока не убедишься, что он тебя любит», – жужжала в уши мать Клары, сожалея в душе, что ей приходится вместо подобных замечаний запихивать дочери ватку в дырявые калоши. «Чего-бы ты стоила без денег?» – шипела m-lle Александра Тальберг, старая дева с капиталом в семь тысяч и с веснушками на лице.

Деньги, деньги, только деньги, – это была главная духовная пища, которой ее кормили. Купить и продать, – вот вся суть жизни. Чувства и тому подобные вещи – пустяки, которые годятся для поэтов и романтических старушек, в роде Лименраух, которая плачет над Гейне и Альтенбергом и у которой украли все золотые ножи для апельсинов. Выгодные дела, барыш, вот вся цель жизни, но, конечно, не следует этого показывать людям, – надо всегда носить про запас маску идеализма, но все же – это основное. Люди так глупы, что пустить им пыль в глаза не трудно... единственное, что они ценят, пред чем преклоняются, это деньги. Они в этом не сознаются, им стыдно друг друга, и всякий носит маску идеализма, встречаясь с другим.

«Aber meinst du, Mery», – говаривал дядя Гаммершляг, – что действительно больше ценят Мицкевича или Гёте, чем «den Baron Adalbert Rotschild, oder deinen Papa?» Они все одинаковы. Наступает война, ist der Krieg – нужен Ротшильд. François-Joseph один император, baron Rotschild – другой. Мы, капиталисты, решаем дела о войне и мире, о счастье и несчастье, от нас зависит la pluie et le beau temps мира. Der liebe alte Gott ist schlafen gegangen und Er hat uns, den Kapitalisten, gesagt: «Messieurs, faites le jeu, s'il vous plait».

– Et nous faisons le jeu, wir machen Spiel. Богу уже не о чем заботиться, не зачем управлять, – мы заботимся и управляем. Der baron Adalbert Rotschild in Wien, твой папа, барон Блюменфельд, я, Цыпрес, Пукелес и компания – в Варшаве. Ja, ja, es geht so. Der liebe alte Gott ist schlafen gegangen und hat als seinen Stellvertreter das liebe Geld gelassen. Et nous faisons le jeu. Возьми себе этот жемчуг на память. Так всегда говаривал дядя Гаммершляг возвращаясь из Вены, где были главные агентства штирийских роз и зальцбургских лесов. Мать Мэри, «berèait son infini», а отец улыбался и, кивая головой, повторял: «Ну, ну, еще, – еще не так скверно», – но оба были очень довольны тем, что их родственник Гаммершляг обучает Мэри «жизненной премудрости», и принимали его у себя, хотя он и плевал в платок, говорил по-немецки и иногда даже от него пахло «жидом». Мэри слушала дядю Гаммершляга, слушала теток Тальберг, слушала своих гувернанток, бонн, учительниц, слушала, наконец, мать, насколько последняя благоволила отзываться со своей «качалки», слушала отца, который говорил то же самое, но предусмотрительно, осторожно, под вуалью, и выработала себе два понятия: что деньги составляют всю суть жизни, что барон Ротшильд решает дела о войне и о мире, что люди вообще ужасные подлецы. «Если ты богата, то тебе станут целовать руки и все, что угодно, если же ты бедна, тебя станут топтать ногами», – повторял дядя Гаммершляг.

«Может случиться, что кто-нибудь влюбится в тебя, – говорил ей отец, – ведь ты красива и умеешь быть очень милой; но любовь – вздор: пройдет, как сон, а блеск останется. Барышня с твоим богатством должна владеть сердцем. Влюбиться в первого встречного тебе нельзя. Твой дедушка и твой отец не для того трудились в поте лица. До сих пор мы славились миллионами, теперь настало время прославиться тобой. Мы ждем от тебя, Мэри, теперь награды. Несмотря на перемену вероисповедания, несмотря на богатство, ты ведь это понимаешь Мэри. Говорю тебе: всякая любовь – это сон; ты можешь выйти замуж за Сенкевича, Падеревского, или же за титул. А помни, что большинство из тех, которые за тобой ухаживали или же хотели ухаживать, любили других».

И Гнезненская опять качала «*son infini*», а тетка Тальберг добавляла: «Выверни его сперва десять раз наизнанку, выверни сперва».

Все можно купить. Принципы, убеждения, добродетель, милосердие, честность, патриотизм, честь, – это, конечно, прекрасные и желательные качества, но главное дело в деньгах. Впрочем, если бы знали, сколько этих названий дается только для денег и за деньги, как их покупают и продают, как злоупотребляют ими, насколько прилагают их к личным делам... «*Croyez moi* – повторял дядя Геммершляг – *croyez moi*: все зависит от величины цены. Все можно купить, *den Mickieivicz, den Kosciuszko*... Все зависит от цены». – «Ну, ну, еще не так скверно», – говорил отец Мэри, улыбаясь и отрицательно качая головой, но вместе с тем радуясь в душе, что Мэри узнает настоящую стоимость денег и цену того, что для всех главное в жизни.

– Если все можно купить, если все зависит от величины цены и если злоупотребляют всем, – все покупают и продают, то, очевидно, люди – подлецы. И кто принужден быть более подлым? Конечно, тот, у кого меньше. «Если это для меня выгодно, *und ich Kaufe, einen Waschington, oder einen Schiller*, то я сделал дело, а он свинство», – говорил дядя Гаммершляг.

– Только купил бы ты их?! – с бледной улыбкой кивал головой отец Мэри.

– Если не я, то барон Адальберт Ротшильд. Не барон Адальберт Ротшильд, так Вандербильд. Не Вандербильд, так Астор. Не Астор, так компания Ротшильд, Вандербильд, Астор et compagnie. Главное дело – уметь пользоваться. Нужно поддерживать известный *décorum*, но не надо быть наивным в отношениях с людьми. В «благородных поступках» какую громадную роль играет стыд перед общественным мнением, необходимость считаться с ним: дай Бог мне только здоровья, – говорил дядя Гаммершляг.

– Слова, слова, слова, – *sagt Hamlet*.

– Рот создан для того, чтобы говорить. Но смолоти все это и испеки хлеб. *Am Anfang war weder Wort, noch Kraft, wie es der alte Goethe will*; в начале было дело...

Мэри слушала с детства эти поучения. Дядя Гаммершляг был того мнения, что девушка богатая, как Мэри, должна быть особенно приготовлена к жизни, и, находя отца Мэри слишком слабым, а мать слишком апатичной, взял на себя обязанность образовать Мэри.

Гнезненские охотно на это соглашались: она по лености, а он в душе соглашался с родственником Гаммершлягом. Отец Мэри был человеком весьма предприимчивым, находчивым и энергичным в делах, в своей конторе, на бирже, на фабриках и собраниях промышленников, но как бы застенчивым и боязливым. Он страшно боялся, чтобы не называли его «*parvenu*» и «богатым жидом». Одевался он скромно, вел образ жизни зажиточного мещанина, проживая лишь 15-ю часть своих сказочных доходов; для всех он был предупредительно вежлив, даже «не смел иметь собственного мнения», подчинялся кому мог и где мог. Кланялся он, впрочем, не только по расчету, но по какой-то внутренней необходимости. В обществе, особенно в деревенском, он со всеми своими миллионами скорей производил впечатление торговца, который пришел по делу в имение. «Дедушка в нем силен», – заметил кто-то остроумно.

На благотворительные цели он давал много, не всегда об этом печатал. И часто печаталось: «Марыня Гнезненская из своего капитала...»; потом: «Мария Гнезненская из своего

капитала...» Впрочем, Мэри ежемесячно получала тысячу рублей на благотворительные цели. Иногда она садилась в карету со своей *dame de compagnie*, с лакеем на козлах, и отправлялась «к бедным». Местами задерживались, лакей сходил и относил подачку. Через окно кареты Мэри видела маленькие, облезлые дома, а перед ними маленьких детей.

Какие-то люди выходили и что-то говорили, вернее – хотели говорить, но лакей отталкивал их и карета трогалась рысью. Видно было только, как кланялись и махали руками. Ехали дальше.

Мэри вовсе не представляла себе нужды и никогда о ней не думала. Когда ей на серебряном подносе подавали кучу прошений, она по большей части думала, что бедняки – страшно скучный и однообразный народ, а для проверки посылала лакея. Затем уж он отправлялся с подачкой или же запрягали карету.

Тем не менее, вследствие частых объявлений о «собственных капиталах», вследствие щедрого подавания милостыни, Мэри пользовалась репутацией девушки с добрым сердцем. В сущности, она делала очень много добра, но как автомат для разбрасывания денег. Бедняк, который не сказал «дай», мог десять раз пройти мимо неё. Она его не видела, не интересовалась им. Она давала, если просил он или другие за него. Впрочем, она отлично понимала, какую пользу извлечет из этого. Чтобы о ней ни говорили, обязательно вспоминали её доброе сердце, её благотворительность.

У неё могли быть фантазии, причуды, капризы – на то она миллионерша и красавица, за то у неё «доброе сердце». Это она отлично понимала.

– Хотя бы ты издержала тридцать тысяч на бедных, барышня в твоём положении, – говорил дядя Гаммершляг, – *du kaufst für sechzig Tausend*. Это капитал, отданный на хороший процент. Он приносит великолепную прибыль – хорошее общественное мнение. – Впрочем, – он при этом с грубой фамильярностью толкал отца Мэри в бок, – кто взял с кого-либо пятьсот тысяч, может дать другому пятьдесят, чтобы заткнуть рот. Отец Мэри неясно и неохотно улыбался, она же не хотела думать о богатстве отца.

Достаточно того, что он был богат. А откуда взялось его состояние? Каким образом? Вопросы эти не должны были существовать для неё и не существовали.

Цинизм дяди Гаммершляга, оды в честь денег тетки Тальберг, бледная физиономия отца, апатичное качание матери в качалке, – все это с детства проникло в душу Мэри. Она, наконец, прониклась чувством, которое прививали ей бедные родственники, что она должна «совершить великое дело». Она чувствовала, что составляет квинтэссенцию семьи Гнезненских, Тальбергов, Гаммершлягов, Вассеркранцов, Лименраухов и т. д. и что все поколения соединились для того, чтобы произвести такой пышный, сильный цветок, как она. В этом утверждало её еще и то, что она была единственной дочерью, – в ней угасало еврейское происхождение семьи, она должна начать новую эпоху. Графиня Мэри... Княгиня Мэри....

С течением времени все Вассеркранцы, Гаммершляги, Лименраухи переменяют фамилии так же, как и они, Гнезненские, и будущие поколения через два, три века вспоминать будут графиню Марию, урожденную Гнезненскую... княгиню Марию, урожденную Гнезненскую... – Родилась я царевной и положу основание новой династии...

А пока она страшно стыдилась своих родственников, в особенности не крещеных до сих пор.

## V

Мэри в первый раз вышла в этот сад. Она вчера вечером приехала с матерью. Отец тоже должен был приехать. Мэри встала рано и пошла в сад. Она впервые была в своем имении, которое подарил ей отец ко дню рождения. Тетка Тальберг говорила, что он дал 300 тысяч обанкротившимся Заглувским, но дядя Гаммершляг, присутствовавший при покупке, ценил один лес во столько же, а землю и луга в 180 тысяч. Мэри мало интересовалась этими цифрами и «выгодным делом отца». Она была слишком богата для таких мелочей и слишком элегантна для денежных дел вообще, однако обладание имением ее радовало. Теперь уж ей не нужен чужой дворец, она может кого угодно пригласить в свой собственный.

Над воротами, над которыми еще не успели снять герб рода Заглувских, поместили бы графскую или же княжескую корону. Теперь, как у любой помещицы или аристократки, у неё в деревне были свои лошади, свои егеря, свои собаки, свой повар, в имение она могла ездить со своей деревенской горничной, как всякая дочь помещика. И ей казалось, что она поднялась еще на одну ступень в общественной иерархии. Уж теперь могли говорить о ней: «M-elle Гнезненская из Загаевиц». Она сама могла рассказывать. «У нас в Загаевицах...» Если она выйдет замуж и у неё будут дети, то все они родятся здесь: *в родовом имении Загаевицах*. Мэри думала уже о том, нельзя ли переменить свою фамилию на Загаевецких, или же прибавить к фамилии Гнезненских фамилию «Загаевецкия». Гнезненские Загаевецкия. Друцкие Любецкие, Гнезненские Загаевецкие...

Отец Мэри обставил дворец после Заглувских заново, по-княжески. Эта мебель, мраморы, ковры, картины, люстры, данные ей ко дню рождения вместе с имением, вероятно, стоили сказочные суммы. И все это не блестело, не бросалось в глаза, не обнаруживало ни дурного вкуса разбогатевшего человека, ни «жидовского» вкуса.

Привезенные из Лондона обойщики и красильщики устраивали резиденцию Мэри по образцу аристократических летних дворцов в Англии.

Благороднейший лорд или пэр Великобритании мог бы здесь обитать. В конюшне стояли английские лошади, прислуга была одета по английскому образцу; впрочем, в её составе было несколько настоящих англичан.

Мэри была очень довольна. Вчера осмотрела она все свои комнаты, флигеля, конюшни, сараи и т. д., сегодня утром в первый раз вышла в сад *в своем имении*.

Было раннее утро, прекрасный, солнечный июньский день. Солнце сильно грело, роса таяла и исчезала на траве и цветах, еще серебрясь и сверкая, как будто всю ночь звезды рассыпали жемчуга. Над цветами порхали какие-то странные бабочки и насекомые, неизвестные Мэри, которая больше знала альбатросов в Биаррице и чаек в Montreux чем родных мотыльков. «Эти маленькия проворные птички, – вспоминала она из зоологии, это верно чижики, балабаны, трясогузки, – дрозды, коноплянки, зимородки... Нет... зимородки порхают над водой, королюки, синицы, воробьи, снigiри, соловьи, жаворонки, черные дрозды, клестовки, подорожники, щеглята, кажется все они порхают и чирикают – за исключением воробьев». Воробьев Мэри хорошо знала, видя их часто в Варшаве.

Мэри шла, шла в солнце, среди разноцветных мотыльков, жужжащих мух с металлическим отливом, пчел и разных загадочных крылатых созданий, среди стаи птиц; шла она по тропинкам, над которыми порхали блестящие, зеленые, золотистые и черные продолговатые насекомые, шла по молоденькой, свежей, обрызганной росой, дивно светлой и зеленой траве, среди цветов с упоительным запахом, шла среди деревьев, чуть слышно шумевших листьями и хвоями, тихая песнь которых глубоко проникала в душу...

Мэри испытывала чрезвычайно приятное ощущение в глазах, в ноздрах, на губах, на полукрытой груди и на непокрытых перчатками руках. Ощущение это было совершенно

иное, не походило на те, которые она испытывала в Ницце, на Корфу, в Montreux, в Биаррице, в Aix-les-Bains, на Гельголанде, в Неаполе или же на римских лугах. Здесь, в этом воздухе чувствовалось что-то более бодрящее и как бы более соответствующее организму. И в этом саду, т.-е., вернее, в этом парке было дивно, так дивно хорошо, как Мэри никогда не ожидала от польской деревни.

Она шла и упивалась этим июньским утром в Загаевицах. Местами Мэри останавливалась и шептала: «Как чудно...» Парк был громаден; чудилось, что ему не было конца. Мэри все шла и шла из аллеи в аллею и постоянно видела вокруг себя клумбы и цветы, или шпалеры деревьев и большие их группы, напоминающие маленькие рощицы. Вдруг, увидела она ручей, а за ним большой пруд в роде небольшого лесного озера. У берега стояли лодки. Мэри захотелось сесть в одну из них и поплыть: ей неоднократно случалось грести в лимане на Тразименском озере и почти на всех итальянских и швейцарских озерах, даже в венецианских гондолах. Но лодки были на цепях и под замками. Мэри вошла в одну из них; лодка покачнулась, и Мэри чуть-чуть не упала. Она громко засмеялась и почувствовала, что давно ей не приходилось так смеяться.

И она продолжала смеяться сердечно, искренно. Ей было хорошо. Она сидела в лодке и смотрела на отражение в озере высоких елей и пихт, чуть-чуть колыхаемых ветром. Кругом царила глубокая тишина.

«Здесь очаровательно» – думала Мэри. И захотелось ей петь, кричать. Но ни одна из тех итальянских, французских и немецких арий, которым ее учили, не соответствовала её теперешнему настроению. Ей хотелось запеть нечто другое, то, что мог бы понять этот лес, эта вода, эти птицы, чирикающие на ветках. Но ничего подобного она не могла вспомнить. И начала она какую-то песнь без слов, на незнакомый мотив, кое-что заимствуя из Моцарта и Россини, но больше импровизируя. Песнь звучала:

Лес, мой лес,  
Зеленый лес...  
Лес, мой лес,  
Зеленый лес...

Голос её улетал в воздух, в пространство. Между тем солнце стало пригревать так сильно, как оно всегда греет в весеннее утро, за несколько часов до дождя. Мэри легла в лодке; солнце жгло ее; подложив руки под голову, она закрыла глаза. Над ней виднелось голубое небо, такое ослепительное, что почти невозможно было на него смотреть. По небу летали ласточки быстро, безвучно. Над лицом Мэри пролетало иногда насекомое, громко жужжа, как маленькая электрическая машинка; сначала Мэри их боялась и старалась отогнать, но вскоре к ним привыкла, видя, что они не причиняют ей зла. Невозмутимая тишина природы захватила ее всю. Мэри уж давно перестала петь. Жара разнежила, утомила и обессилила ее. Она лежала на дне лодки с закрытыми глазами. Ей казалось, что она засыпает...

Вдруг ей почудился шопот, который становился все яснее, переходя в торжественный, медленный гимн, напеваемый водой, цветами, деревьями и солнцем...

К ней обращалась какая-то тихая загадочная песнь.

Песнь эта звучала:

Ты как роза саронская, ты как лилия долин...

Ты, как роза саронская, благоухаешь днем, а ночью ты как чаша драгоценная...

Вот склоняются к тебе головы, протягиваются алчные, жаждующие уста...

Есть тихие, уединенные гроты, в них плющ и луч солнца, боязливый и ясный...

Вот возлюбленный мой, которого искала я ночью на ложе своем, и не находила... рука его под моей головой, другой рукой он обнимает меня... О, как прекрасна ты, возлюбленная моя! О, как ты прекрасна. Уста твои, как плод граната, очи твои, как звуки песни.

Очи твои, как звуки песни, песни благодарной и протяжной...

Очи твои, как песнь, слышная среди кустов лесных и цветов полевых...

О, как прекрасна ты, возлюбленная моя, о, как ты прекрасна!..

Мой милый тот, кого возлюбила душа моя; ночью искала я его на ложе своем, но не нашла...

.....

И все звучала песня: Роза саронская...

Встань и поди, ждет тебя возлюбленный твой, ждет тебя нетерпеливо...

Как мед уста его, как пламя объятия его...

В объятия свои заключит он тебя, в объятиях своих укачает...

Есть тихие, уединенные гроты, куда крадется лист плюща и робкое солнце.

Встань, пойдя, прекрасная, ждет тебя возлюбленный твой на ложе из мха и лесных роз.

Как сад, в который ты войдешь, как источник, в который погрузишь свои ноги, – будет любовь его...

Как заколдованный замок, как лабиринт без выхода...

На грудь свою положит тебя, дыханием своим укачает тебя...

Уста его как пламя, очи его, как шум ветра, падающего на долину...

Как вздутый поток, очи его, как факел пылающий...

Встань и пойдя, о, ты, прекраснейшая из невест...

И звучала песнь:

Благоухает дикая яблоня; а у наших дверей сберегла я все сладкие плоды для тебя, милый мой...

Иди; светит утро, солнце жжет тебя...

Пойдем в наши сады, в наши поля...

Посмотрим, зарделись ли колосья, позеленели ли наши яблони, зацвели ли вишни...

Смотри! вот алеют и желтеют бобы... цветут и краснеют ягоды...

Мы будем идти меж нивами; с холмов будет нестись тихий шелест листьев и струиться их аромат...

Прийди, милый мой, мы будем ходить по тропинкам, что выются меж нивами...

Там обниму я руками шею твою и протяну к тебе свою...

Там упиваться будешь сладостью моих лобзаний; уста мои сольются с твоими...

Там уста мои прильнут к твоим устам, там ничто нас не разлучит...

И песнь все шумела:

Роза саронская, лилия долин!..

У ног твоих лежать хочу, хочу целовать стопы твои...

Склони ко мне голову свою и взгляни на меня, ибо чахну я от любви к тебе...

Ногу свою поставь на голове моей, и буду я благодарить тебя...

Уста мои горят, и зажглись очи мои...

Как огненный вихрь, бушует любовь моя в груди моей, как море поглощает меня тоска...

О, возлюбленная моя! вот я ждал тебя днем и жду ночью, когда розы подобны драгоценным чашам....

Над челом моим звезды... сапфирные звезды сияют...

И песнь все шумела:

Над челом моим звезды, звезды огненные, пламенные...

На руках моих сияет серебро, и грудь моя в серебре...

Силен ты и прекрасен, о, возлюбленный мой...

Земля дрожит и гнутся деревья, когда иду я сражаться...  
Окованы железом руки мои, как водопад, прорывающий плотину...  
Склоняю к тебе голову мою и лицо мое, блестящее медью...  
И песнь все шумела:  
Ты для меня, как святыня, как воплощенное чудо...  
Я слепну, когда гляжу на тебя, ибо ослепляет меня светлость твоего девственного лица...  
Девственность твоя опьяняет меня; я подобен надрубленному дереву или орлу, сраженному молнией...  
Тень души твоей – моя душа; как эхо за звуком, так сердце мое следует за твоим...  
О, как прекрасна ты, о, как прекрасна ты, возлюбленная моя...  
Днем ты, как благоухающая роза, ночью как драгоценная чаша...  
Ты – молитва моя, благотворение и самоотречение.  
Есть тихие, уединенные гроты, куда закрадывается боязливый луч солнца и листик плюща.  
Наложу меня, как печать, на сердце твое и, как печать, на грудь твою, ибо сильна, как смерть, любовь и крепче могильного камня.  
И песнь все шумела:  
Мы выстроим дворцы из яшмы и хрусталя, сияющие золотом и драгоценными камнями...  
Протяни благоуханные руки, о, цветок великий, обними нас, пусть нас не будет...  
Ибо исчезнуть хотим мы в чашечке твоей, в объятиях твоих и в море твоего благоухания...  
На стенах нашего дворца, на хрустальных, прозрачных, сияющих стенах вьются стебли твои, гнутся чашечки твои, о, цветок!  
Мы, как заблудившиеся в лесу, как путники в роще в полуденный зной...  
Когда повернем мы лица – всюду чашечки твои, и когда подыдем глаза – стебли твои благоуханные...  
Я, как роза лесная; оплели меня сестры мои...  
Когда взгляну и протяну руки – всюду розы, розы, розы...  
Розы щекочут уста мои и льнут к грудям моим...  
И стопы мои целуют; оплели колена мои...  
Нет места на теле, которого бы они не целовали...  
Я, как роза саронская, растущая в лесу роз...  
Наложу меня как печать на сердце твое и как печать на руку твою, ибо сильна как смерть любовь и мрачна как бездна ревность.  
И образ Стжижецкого в полуоткрытых глазах Мэри становился все более и более ясным и близким...  
Глаза его глядели в её глаза, губы его сливались с её губами...  
И прильнули к ним... Тогда Мэри обвила его руками, прижала к себе и поплыла куда-то, в глубину, в бездну...  
Мир, как туман, рассеялся пред нею...  
Она очнулась, глядя еще в глаза Стжижецкого и чувствуя его губы на своих.  
Люблю тебя! – прошептала она.  
Люблю, люблю, люблю тебя! – шептала она все страстнее.  
Люблю тебя, люблю... где ты... где ты? приходи! я тебя люблю!..  
Она не поднималась; лежала в лодке на спине, подложив руки под голову. Какая-то тяжесть угнетала ее, тянула на дно. У неё не было ни силы, ни воли. А губы её все шептали: «люблю тебя!»

Но сонные или полусонные мечты и грезы стали развеваться, исчезать. Мэри открыла глаза, села в лодке и пригладила волосы.

– Люблю ли я его в самом деле? – спросила она тихо; но вот она заметила, что во время её сна поднялся легкий ветерок, и отражения деревьев в воде, как и её лодка, колышутся медленно и ритмически.

Мэри улыбнулась так, как ей случалось улыбаться вместе с двоюродной сестрой Герсылкой, поднялась и вышла из лодки.

Солнце уже было высоко на небе.

– Я, вероятно, долго спала, – подумала она, – и что мне грезилось! Я становлюсь поэтессой или чем-то в этом роде?

И стала вспоминать свой сон: «Я как роза саронская и лилии долин...» но не могла вспомнить слов. У неё только осталось впечатление сильного, уже минувшего упоения.

Мэри пошла по тропинке. Она была сильно расстроена. Цветы на грядках стали ее раздражать, порхавшие над ними мотыльки резали глаза. Она сжала зубы и ударила зонтиком по головке высокого мака, который рос на краю клумбы. Он сломался и упал. Мэри охватила какая-то жажда разрушения. Она стала ломать цветы и топтать их ногами, когда они падали на тропинку. Бешенство овладело ею. Ей хотелось бить и царапать.

Мэри не могла дать себе отчета, что с ней происходит. Она была чем-то страшно недовольна и чувствовала огромное отвращение ко всему ее окружающему и знакомому. Отец её теперь в конторе, мать «*berse son infini*» на качалке, тетка Тальберг подлизывается ко всем, к кому может; знакомые и знакомые – все это пошло, банально, ничтожно и пусто...

Вот дядя Гаммершляг, при всей его грубости и манерах купца, интересен своим характером... И это все? И это должно быть всем? Что же ожидает ее? Она протанцует еще одну-две зимы и будет графиней Черштынской, или же женою Августа Вычевского, или Стефана Морского, или кого-нибудь другого, – ну, и что же дальше?

Что ей даст «новая жизнь», кроме той же пошлости, банальности и тоскливости? У лакеев будут ливреи с гербовыми пуговицами, а на каретах короны вместо букв. Некоторая разница в внешних формах, – а в остальном все то же.

Год или два, во время брачного путешествия и первое время в собственном доме, ей будет казаться, что она счастлива; затем уже начнутся ссоры, неизбежные стычки... Год или два она пострадает, а там будет уж поступать, как мадам X, m-me Y, m-me N и графиня M! – будет «утешаться...»

– Брр! – вздрогнула она. – Какая это жизнь?

Вдруг перед ней встало лицо Стжижецкого.

– Он?

Он!? Ведь он обидел ее, оттолкнул от себя, когда она льнула к нему... Она этого ему не забудет! И месть в её руках: он сейчас же будет у её ног, если только ока захочет... но она не захочет.

– Тесно, душно! Уйти!.. – стала она повторять.

Она не видела стены, а все же ей казалось, что она замкнута со всех сторон...

– Тесно, душно!.. уйти!

Мэри шла все скорее и скорее. Наконец, глазам её открылась неожиданная картина: с одной стороны парк не был окружен забором, а живой изгородью, за которой виднелась река. Дальше зеленел узкий берег и начинался лес со светлеющими полянками, лес елей, сосен и можжевельников...

– Вот туда бы пробраться! – подумала она.

Река текла спокойно, почти без волн, но была широка и, верно, глубока. Невдалеке от места, где Мэри остановилась, качалась большая лодка, привязанная к столбу. Пробраться к

ней можно было только через проход в кустарнике; Мэри пробралась и стала отвязывать лодку. Она не задумывалась даже над тем, что делает; что-то толкало ее.

Канат упал в воду, лодка покачнулась; Мэри взяла весла в руки и отчалила от берега.

Мэри сначала испугалась, течение было довольно сильное и унесло лодку; но немного спустя Мэри поняла, что ей не трудно будет поплыть куда угодно. Она поплыла по течению.

Вокруг неё шумел лес, деревья в парке подхватывали шум воды.

Мэри чувствовала огромное наслаждение. Она плыла, слегка правя веслами. Но вдруг ей пришло в голову, что она легко может заблудиться, не зная окрестности, и что не надо слишком далеко отъезжать от парка. Она направила лодку к противоположному берегу; в самом деле, живая изгородь кончалась, и начиналась высокая каменная стена, а за ней, на другом берегу тянулся лес.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.